

# 1

Я родился и вырос в крошечной квартирке с низкими потолками. В ней было около тридцати квадратных метров, и располагалась она на самом нижнем этаже. Родители спали на диване, который, когда его по вечерам раздвигали, занимал почти всю их комнату. Ранним утром этот диван заталкивали в самого себя, постельные принадлежности прятали во тьму нижнего ящика, матрас переворачивали, все закрывали, закрепляли, застилали светло-коричневым покрывалом, разбрасывали несколько вышитых подушек в восточном стиле — и не оставалось никаких улик ночного сна. Таким образом, комната родителей служила и спальней, и кабинетом, и библиотекой, и столовой, и гостиной. Напротив располагалась моя каморка — светло-зеленые стены, половину пространства занимал пузатый одежный шкаф. Темный коридорчик, узкий и низкий, слегка изогнутый, напоминающий вырытый узниками для побега подземный ход, соединял эти две комнатухи с кухонькой и закутком уборной. Тусклая электрическая лампочка, заключенная в железную клетку, едва освещала коридорчик, и мутный свет этот не гасили даже в дневные часы. В комнатках имелось по одному окошку. Защищенные железными жалюзи, они словно старательно моргали, изо всех сил пытаясь увидеть восток, но видели только запорошенный пылью кипарис да ограду из нетесаных камней. А кухня и туалет сквозь свое зарешеченное оконце выглядывали в зацементированный дворик, окруженный высокими, словно тюремными, стенами. В дворике этом, куда не проникал ни единый солнечный луч, медленно чахла бледная герань, торчащая из ржавой жестянки из-под маслин. На подоконниках у нас вечно теснились закупоренные

6 банки с солеными огурцами, компанию им составлял кактус, окопавшийся в вазе, которой из-за трещины пришлось пере-квалифицироваться в цветочный горшок.

Квартирка располагалась в полуподвале: нижний этаж дома был вырублен в склоне горы. Эта гора соседствовала с нами через стену — иметь такого соседа было нелегко: угрюмый, молчаливый, давно уже одряхлевший, меланхоличный, с привычками застарелого холостяка, но с другой стороны — строго оберегающий тишину, погруженный в неизбывную зимнюю спячку, этот сосед-гора никогда не передвигал мебель, не принимал гостей, не шумел и не причинял хлопот. Но через две общие с нашим печальным соседом стены к нам просачивались легкий, но неистребимый запах плесени, влажный холод, тьма и безмолвие.

И на протяжении всего лета у нас сохранялась толика зимы. Гости, бывало, говорили:

— Как у вас приятно, когда из пустыни дует раскаленный ветер, как спокойно и даже, можно сказать, прохладно. Но как вы здесь живете зимой? Не пропускают ли стены сырости? Не действует ли все это зимой несколько угнетающе?



В обеих комнатах, кухне, туалете и особенно в коридорчике царил тьма.

Весь дом был забит книгами: отец читал на шестнадцати или семнадцати языках и говорил на одиннадцати (на всех — с русским акцентом). Мама говорила на четырех или пяти языках и читала на семи или восьми. Если они хотели, чтобы я их не понял, то говорили друг с другом по-русски или по-польски. А они довольно часто хотели, чтобы я их не понимал. Когда однажды мама случайно в моем присутствии сказала о ком-то на иврите “племенной жеребец”, отец сердито одернул ее по-русски: “Что с тобой? Разве ты не видишь, что тут мальчик?”

Руководствуясь своими представлениями о культуре, книги они предпочитали на немецком и английском, а сны, посещающие их ночами, наверняка видели на идише. Но меня они учили только ивриту — возможно, из опасения, что знание языков сделает меня беззащитным перед соблазнами Европы, такой прекрасной и такой убийственно опасной.

В иерархии ценностей моих родителей Запад занимал особое место: чем “западнее”, тем выше культура. Толстой и Достоевский были близки их “русским” душам, и все-таки мне казалось, что Германия — даже несмотря на Гитлера — представлялась им страной куда более культурной, чем Россия и Польша, а Франция опережала в этом смысле и Германию. Англия же явно стояла выше Франции. Что же касается Америки, то здесь они пребывали в некотором сомнении: разве там не стреляют в индейцев, не грабят почтовые поезда, не моют золото и не охотятся за девушками как за добычей?..

Европа была для них вожаденной и недоступной землей обетованной — краем колоколен, церковных куполов, мостов, площадей, мощенных древними каменными плитами, улиц, по которым бегают трамваи, краем заброшенных деревушек, целебных источников, лесов, снегов, зеленых лугов...

Все эти “избы”, “луга”, “девушки, пасущие гусей” притягивали и волновали меня все мое детство. От них исходил чувственный аромат подлинного мира, полного безмятежности, в котором нет пыльных жестяных крыш, свалок, зарослей колючек, выжженных холмов Иерусалима, задыхающегося под гнетом раскаленного лета. Стоило только прошептать “луг”, и мне слышалось журчание ручья, мычание коров и перезвон колокольчиков. Зажмурившись, видел я прекрасную девушку, пасущую гусей, и она казалась мне до слез сексуальной — задолго до того, как я что-либо узнал о сексе.



Спустя много лет я узнал, что Иерусалим в двадцатые — сороковые годы, во времена британского мандата, был городом потрясающе богатой и разнообразной культуры. Это был город крупных предпринимателей, музыкантов, ученых и писателей. Здесь творили Мартин Бубер, Гершом Шолем, Шмуэль Иосеф Агнон и многие другие великие мыслители и деятели искусства. Порой, когда мы шли по улице Бен-Иехуда или по бульвару Бен-Маймон, отец шептал мне: “Вон там идет ученый с мировым именем”. Я не понимал, что он имеет в виду. Я думал, что “мировое имя” связано с большими ногами, потому что довольно часто слова эти относились к какому-нибудь старику, одетому даже летом в костюм из плотной шерсти и тростью

8 нащупывающему дорогу, потому что ноги его едва передвигались.

Иерусалим, на который с почтением взирали мои родители, лежит далеко от нашего квартала — этот Иерусалим можно было найти в Рехавии, утопающей в зелени и звуках рояля, в трех-четырёх кафе с золочеными люстрами на улицах Яффо и Бен-Иехуда, в залах ИМКА, в гостинице “Царь Давид”... Там еврейские и арабские ценители культуры встречались с учтивыми, просвещёнными, широко мыслящими британцами, там, опираясь на руку джентльменов в темных костюмах, плыли и порхали томные женщины с длинными шеями, в бальных платьях, там проходили музыкальные и литературные вечера, балы, чайные церемонии и утонченные беседы об искусстве... А может, этот Иерусалим, с люстрами и чайными церемониями, и не существовал вовсе, а был только в воображении обитателей нашего квартала Керем Авраам, где жили библиотекари, учителя, чиновники, переплетчики. Во всяком случае, тот Иерусалим не соприкасался с нами. Наш квартал, Керем Авраам, принадлежал Чехову.

Когда спустя годы я читал Чехова (в переводе на иврит), то не сомневался, что он — один из нас: дядя Ваня ведь жил прямо над нами, доктор Самойленко склонялся надо мной, ощупывая своими широкими ладонями, когда я болел ангиной или дифтеритом, Лаевский с его вечной склонностью к истерикам был маминим двоюродным братом, а Тригорина мы, случалось, ходили слушать в Народный дом на субботних утренниках.

Конечно же, окружавшие нас русские люди были самыми разными — например, было много толстовцев. Некоторые из них выглядели точь-в-точь как Толстой. Увидев впервые портрет Толстого — коричневую фотографию в книге, я был уверен, что не раз встречал его в нашем районе. Он прохаживался по улице Малахи или спускался по улице Овадия — величественный, как праотец Авраам, голова не покрыта, седая бородаща развеивается на ветру, глаза мечут искры, в руке суковатый посох, крестьянская рубаха, спускающаяся поверх широких штанов, перепоясана грубой веревкой.

Толстовцы нашего квартала (родители называли их на ивритский лад — “толстойщики”) были все воинствующими вегетарианцами, блюстителями морали, они стремились исправить мир, всей мощью своей души любили природу, любили все че-

ловечество, любили каждое живое существо, каким бы оно ни было, они были пропитаны пацифистскими идеями и неизбывной тоской по трудовой жизни, простой и чистой. Все они страстно мечтали о настоящей крестьянской работе, в поле или саду, но даже собственные непритязательные комнатные цветы в горшках им вырастить не удавалось: то ли поливали их столь остервенело, что цветы отдавали богу душу, то ли не поливали вовсе. А возможно, виновата в том была враждебная нам британская администрация, имевшая обыкновение сильно хлорировать воду.

Некоторые толстовцы сошли, казалось, прямо со страниц романов Достоевского — снедаемые душевными муками, непрерывно ораторствующие, задавленные собственными инстинктами, обуреваемые идеями. Но все они, и толстовцы и достоевцы, все эти обитатели квартала Керем Авраам, по сути, вышли из Чехова.

Все, что простиралось за пределами нашего маленького мирка и звучало для меня как одно слово — весьмир, — называлось у нас обычно “большой мир”. Но были у него и другие имена: просвещенный, внешний, свободный, лицемерный. Я познавал этот мир с помощью коллекции марок — Данциг, Богемия и Моравия, Босния и Герцеговина, Убанги-Шари, Тринидад и Тобаго, Кения-Уганда-Танганьика. Весьмир был далеким, манящим, волшебным, но полным опасностей и враждебным нам: евреев не любят — потому что они умны, остры на язык, потому что они преуспевают, но также и потому, что они шумны и, главное, рвутся быть впереди всех. Не нравится большому миру и то, что мы делаем здесь, в Эрец-Исраэль, — уж больно глаза у людей завидующие, им не дает покоя даже этот клочок земли, где нет ничего, кроме болот, скал и пустыни. Там, в большом мире, все стены были покрыты подстрекательскими надписями: “Жиды, убирайтесь в Палестину!” Вот мы и убрались в Палестину, и теперь весьмир поднялся и орет: “Жиды, убирайтесь из Палестины!”

Не только весьмир, но даже Эрец-Исраэль была далека от нас: где-то там, за горами, формируется новая порода евреев-героев — загорелых, крепких, молчаливых, деловых людей, совсем не похожих на евреев, живших в диаспоре, совсем не похожих на обитателей квартала Керем Авраам. Парни и девушки — первопроходцы, осваивающие новые земли, упорные, смуглые от солнца, немногословные, сумевшие поставить себе

10 на службу даже ночную тьму. И в отношениях парней с девушками, равно как и в отношениях девушек с парнями, они уже сломали все запреты, прорвали все препоны. Они ничего не стыдятся.

Мой дедушка Александр как-то сказал:

— Они верят, что в будущем это будет совсем просто — парень сможет подойти к девушке и попросить у нее это, а возможно, девушки даже не станут дожидаться такой просьбы, а сами предложат это, как предлагают стакан воды.

Близорукий дядя Бецалель возмущенно возразил, постаравшись выдержать вежливый тон:

— Но ведь это же чистейший большевизм! Так вот запросто разрушить очарование тайны?! Так запросто отменить всякое чувство?! Превратить нашу жизнь в стакан теплой воды?!

Дядя Нехемия из своего угла вдруг затянул, то ли подвывая, то ли рыча, как загнанный зверь:

Ой, мама, дорога трудна и длин-на,  
Тро-пи-инка петляет упря-ямо.  
Бреду я, шатаюсь, и даже лу-на  
Сейчас ко мне бли-иже, чем ма-ма...

Тут тетя Ципора вмешалась по-русски:

— Ну хватит, довольно. Вы все с ума походили? Ведь мальчик вас слушает!

И все перешли на русский.



Первопроходцы, осваивающие новые земли, существовали где-то за нашим горизонтом, где-то в долинах Галилеи и Самарии. Закаленные парни с горячими сердцами и в то же время спокойные и рассудительные. Крепкие, хорошо сложенные девушки, прямодушные и сдержанные, словно они уже все постигли, все знают, и ты тоже им понятен, как и то, что приводит тебя в смущение и замешательство, но тем не менее они относятся к тебе доброжелательно и уважительно — не как к ребенку, а как к мужчине, который просто не вышел ростом.

Таковыми они представлялись мне, эта парни и девушки, покорители новых земель, — сильными, серьезными, владеющими

какой-то тайной. Они могли, собравшись в круг, петь песни, пронзающие сердце любовным томлением, а затем с легкостью переходить к песням шуточным или даже к полным дерзкой страсти и ужасающей откровенности, вгоняющей в краску. Им ничего не стоило пуститься в бурный, неистовый, доводящий до экстаза танец, и в то же время они способны были к серьезным размышлениям в одиночестве. Их не пугала ни жизнь в шалаше, построенном прямо в поле, ни любая тяжелая работа. Они жили, следуя своим песенным заповедям: “Дан приказ — мы всегда готовы!”, “Парни твои принесли тебе мир на плуге, сегодня они несут тебе мир на винтовках”, “Куда бы ни послали нас — мы пойдём”. Они умели скакать на необъезженной лошади и водить гусеничный трактор, владели арабским, им были знакомы потаенные пещеры и русла пересыхающих рек, они умели обращаться с револьвером и ручной гранатой, и при этом они читали стихи и философские книги, были эрудитами, способными отстоять свое мнение, но скрывающими свои чувства. И порой за полночь, при свете свечи, приглушенными голосами спорили они в своих палатках о смысле жизни и о проблемах жестокого выбора — между любовью и долгом, между интересами нации и справедливостью.

Иногда я с приятелями ходил на хозяйственный двор компании “Тнува”, где разгружали машины, доставлявшие на переработку сельскохозяйственную продукцию. Я хотел увидеть их — прибывших на этих доверху груженных машинах из-за темных гор, их, “припорошенных песком, перепоясанных ремнями, обутых в тяжелые ботинки”... Я, бывало, крутился вокруг, вдыхая запахи луговых трав, пьянея от ароматов далеких просторств. Там, у них, воистину вершатся великие дела: там строят нашу страну, исправляют мир, создают новое общество, меняя не только ландшафт, но и саму историю; там распахивают поля, сажают виноградники; там творят новую поэзию; там, вооруженные, они летят на конях, отстреливаясь от арабских банд; там из презренного праха человеческого рождается народ-воин.

Втайне я мечтал, что в один прекрасный день они возьмут меня с собой. И я вольюсь в народ-воин. И моя жизнь тоже переплавится в новую поэзию, станет чистой, честной и простой, словно стакан родниковой воды в день, когда дует знойный ветер пустыни — хамсин.



За темными горами был еще и тогдашний Тель-Авив — город, живущий бурной жизнью, откуда прибывали к нам газеты и слухи о театре, опере, балете, кабаре, о современном искусстве и партиях, откуда долетало к нам эхо жарких дискуссий с обрывками весьма туманных сплетен. Там, в Тель-Авиве, были замечательные спортсмены. А еще там имелось море, и в этом море было полно загорелых евреев, умелых пловцов. А в Иерусалиме — кто тут умел плавать? Кто вообще слышал когда-нибудь о плавающих евреях? Это ведь совсем иные гены. Мутация. “Как чудо рождается бабочка из червя...”

Было какое-то тайное очарование в самом слове “Тель-Авив”. Когда его произносили, в моем воображении возникал образ такого крепкого, на совесть сработанного парня, поэта-рабочего-революционера — в голубой майке и кепке, надетой с небрежным щегольством, загорелого, широкоплечего, кудрявого, дымящего сигаретой “Матусиан”. Такого называют “рубаша-парень”, и он чувствует себя своим во всем мире. Целый день он тяжело работает — мостит дороги, трамбует гравий, — вечерами играет на скрипке, по ночам в песчаных дюнах при свете полной луны танцует с девушками или поет душевные песни, а на рассвете достает из тайника пистолет или автомат “Стен” и уходит, невидимый, во тьму — защищать поля и мирные жилища.

Как же далек был от нас Тель-Авив! За все свои детские годы я был в нем не более пяти-шести раз — мы, случалось, ездили на праздники к тетушкам, маминым сестрам. По сравнению с нынешними днями в тогдашнем Тель-Авиве и свет был совсем иным, чем в Иерусалиме, и даже законы гравитации действовали совершенно иначе. В Тель-Авиве ходили, словно астронавт Нил Армстронг на Луне — что ни шаг, то прыжок и парение.

У нас в Иерусалиме люди вечно ходили как на похоронах или как опоздавшие, пробирающиеся на свое место в концертном зале, — сначала земли касается носок башмака, словно пробуя, надежна ли твердь. Затем ставится вся стопа, но не спешит перемещаться: наконец-то, через две тысячи лет, обрели мы право поставить свою ногу в Иерусалиме, так не станем спешить. Ведь стоит приподнять ногу, мигом явится кто-то еще



и отберет у нас этот клочок нашей земли, эту “единственную овечку бедняка”, как говорит ивритская поговорка. Но если уж ты поднял ногу, не торопись опустить ее вновь: кто знает, какой клубок гадюк, вынашивающих гнуснейшие замыслы, копошится там? Разве на протяжении тысячелетий не платили мы кровавую цену за свою неосмотрительность, вновь и вновь попадая в руки притеснителей, потому что ступали, не проверив, куда ставим ногу?

Примерно так выглядела походка иерусалимцев. Но Тель-Авив — вот это да! Весь город — словно кузнечик! Люди куда-то неслись, и неслись дома, и улицы, и площади, и морской ветер, и песок, и аллеи, и даже облака в небесах.

Как-то мы приехали весной, чтобы провести ночную пасхальную трапезу в семейном кругу. Ранним утром, когда все еще спали, я оделся, вышел из дома и отправился в дальний конец улицы, чтобы поиграть в одиночестве на маленькой площади, где были пара скамеек, качели, песочница и росли несколько молоденьких деревьев, на ветках которых уже распевали птицы. Спустя несколько месяцев, на еврейский Новый год — Рош ха-Шана, мы снова приехали в Тель-Авив. Но... площади на прежнем месте уже не было. Ее перенесли в другой конец улицы — вместе с молодыми деревцами, качелями, птичками и песочницей. Я был потрясен, я не понимал, как Бен-Гурион и наши официальные учреждения позволяют творить подобные вещи? Как это так? Кто это вдруг берет и передвигает площадь? Неужели завтра передвинут и Масличную гору? И Башню Давида у Яффских ворот в Иерусалиме? И Стену Плача передвинут?

О Тель-Авиве говорили у нас с завистью, высокомерием, восхищением и некоторой таинственностью, словно Тель-Авив был неким секретным судьбоносным проектом еврейского народа, а потому лучше болтать об этом городе поменьше, ведь и стены имеют уши, и повсюду кишат ненавистники и вражеские агенты.

Тель-Авив: море, свет, синева, песок, строительные леса, культурный центр “Огель-Шем”, киоски на бульварах... Белый еврейский город, простые очертания которого вырастают среди цитрусовых плантаций и дюн. Не просто место, куда, купив билет, можно приехать на автобусе компании “Эгед”, а другой континент.



На протяжении многих лет был у нас заведен особый порядок, чтобы поддерживать постоянную телефонную связь с родными, живущими в Тель-Авиве. Раз в три-четыре месяца мы звонили им, хотя ни у нас, ни у них телефона не было. Первым делом мы посылали письмо тете Хае и дяде Цви, в котором сообщали, что девятнадцатого числа текущего месяца (день этот выпадает на среду, а по средам Цви уже в три часа завершает свою работу в больничной кассе) в пять часов мы из нашей аптеки позвоним в их аптеку. Письмо посылалось заранее, с таким расчетом, чтобы мы могли получить ответ. В своем письме тетя Хая и дядя Цви отвечали нам, что среда девятнадцатого числа, безусловно, подходящий день и они, конечно же, будут ждать нашего звонка в аптеке еще до наступления пяти часов, но если случится так, что мы позвоним позже, они никуда не убегут — мы можем не беспокоиться.

Я не помню, наряжались ли мы в свои лучшие одежды по случаю похода в аптеку, чтобы позвонить в Тель-Авив, но ничуть не удивлюсь, если наряжались. Это был подлинный праздник. Уже в воскресенье папа говорил маме:

— Фаня, ты помнишь, что на этой неделе мы разговариваем с Тель-Авивом?

В понедельник мама обычно напоминала:

— Арье, не возвращайся послезавтра поздно, а то мало ли что может случиться...

А во вторник папа и мама обращались ко мне:

— Амос, только не вздумай преподнести нам какой-нибудь сюрприз, слышишь? Не вздумай заболеть, слышишь? Смотри не простудись и не упади, продержись до завтрашнего вечера.

В последний вечер они говорили мне:

— Ступай спать пораньше, чтобы у тебя хватило сил для завтрашнего телефона. Я не хочу, чтобы тем, кто будет слушать тебя, казалось, будто ты не ел как следует...

Волнение все нарастало. Мы жили на улице Амоса, аптека была в пяти минутах ходьбы, на улице Цфании, но уже в три часа отец предупреждал маму:

— Не затевай сейчас никаких новых дел, чтобы не оказалось, что времени в обрез.

— Я-то в полном порядке, а вот ты со своими книгами, ты смотри не забудь.

— Я? Забуду? Да ведь я смотрю на часы каждые несколько минут. Да и Амос мне напомнит.

Вот так, мне всего лишь пять или шесть лет, а на меня уже возложена историческая миссия. Наручных часов у меня не было и быть не могло, поэтому каждую минуту я бегал в кухню посмотреть, что показывают ходики, и, словно во время запуска космического корабля, провозглашал:

— Еще двадцать пять минут, еще двадцать, еще пятнадцать, еще десять с половиной...

И как только я произносил “десять с половиной”, мы все поднимались, хорошенько запирали квартиру и втроем отправлялись в путь: налево — до бакалейной лавки господина Остера, затем направо — на улицу Захарии, потом налево — на улицу Малахи, наконец, направо — на улицу Цфании, и сразу же — в аптеку.

— Мир и благословение, господин Хайнман. Как поживаете? Мы пришли позвонить.

Он, конечно же, знал, что в среду мы придем позвонить нашим родственникам в Тель-Авив, он также знал, что Цви работает в больничной кассе, что Хая занимает важный пост в женсовете Тель-Авива, что сын их Игаэл станет спортсменом, когда вырастет, что их хорошие друзья — известные политические деятели Голда Меерсон и Миша Колодный, которого здесь называют Моше Кол, но тем не менее мы ему напоминали:

— Мы пришли позвонить родственникам в Тель-Авив.

Господин Хайнман обычно отвечал:

— Да. Конечно. Присядьте, пожалуйста.

И всегда рассказывал свой неизменный анекдот про телефон. Однажды на сионистском конгрессе в Цюрихе из боковой комнаты, примыкавшей к залу заседаний, донеслись ужасные вопли. Берл Локер, член исполкома Всемирной сионистской организации, спросил Авраама Харцфельда, организатора Сионистской рабочей партии, что там за шум. Харцфельд ответил ему, что это товарищ Рубашов, будущий президент Израиля Залман Шазар, разговаривает с Бен-Гурионом, находящимся в Иерусалиме. “Говорит с Иерусалимом? — удивился Берл Локер. — Так почему же он не воспользуется телефоном?”

Папа произносил:

— Сейчас я наберу номер.

Мама:

— Еще рано, Арье. Есть еще несколько минут.

С чем отец обычно не соглашался:

— Верно, но пока нас соединят...

(В те дни еще не было автоматической связи с Тель-Авивом.)

А мама:

— Но что будет, если нас моментально соединят, а они еще не пришли?

На это отец отвечал:

— В таком случае мы просто попытаемся позвонить еще раз.

— Нет-нет, они будут волноваться. Они могут подумать, что прозевали нас.

Пока родители обменивались мнениями, время подходило к пяти. Отец поднимал трубку, делая это стоя, а не сидя, и обращался к телефонистке:

— Добрый день, любезная госпожа. Я прошу Тель-Авив, 648 (или что-то в этом роде — мы жили тогда в мире трехзначных чисел).

Случалось, что телефонистка говорила:

— Пожалуйста, подождите, господин, еще пару минут, сейчас говорит начальник почты, линия занята.

Впрочем, иногда говорилось, что на линии “господин Ситон” или “сам господин Нашашаби”, глава одной из богатейших арабских семей Иерусалима.

Мы немного волновались — что же будет, как они там, в Тель-Авиве?

Я прямо-таки зримо представлял себе его, этот единственный провод, соединяющий Иерусалим с Тель-Авивом, а через него — со всем миром. И вот эта линия занята. И, пока она занята, мы оторваны от всего мира. Провод этот тянулся через пустыню, скалы, извивался среди гор и холмов. Это казалось мне великим чудом, и я дрожал от страха: что же будет, если ночью стая диких зверей сожрет этот провод? Или плохие арабы перережут его? Или зальет его дождем? Вдруг случится пожар, загорятся сухие колючки, что часто случается летом? Кто знает... Где-то там извивается себе тонкий проводок, который так легко повредить. Его никто не охраняет, его нещадно жжет солнце. Кто знает... Я был преисполнен благодарности к тем людям, что протянули этот провод, людям мужественным и лов-

ким, ведь совсем не просто проложить телефонную линию из Иерусалима до самого Тель-Авива. По собственному опыту я знал, как это трудно: однажды мы протянули провод из моей комнаты в комнату Элиягу Фридмана, всего-то и расстояния — два дома и один двор, провод — обыкновенный шпагат, но сколько было проблем: и деревья по дороге, и соседи, и сарай, и забор, и лестницы, и кусты...

После короткого ожидания отец, предположив, что начальник почты или “сам господин Нашашиби” уже закончили говорить, вновь поднимал трубку и обращался к телефонистке:

— Простите, любезная госпожа, мне кажется, что я просил соединить с Тель-Авивом, номер 648.

А та говорила:

— У меня это записано, мой господин. Пожалуйста, подождите. (Или “Пожалуйста, вооружитесь терпением”.)

На что папа отвечал:

— Я жду, госпожа моя, разумеется, я жду, но люди ждут и на другом конце.

Этим он со всей возможной вежливостью намекал ей, что хотя мы люди культурные, но есть предел и нашей сдержанности. Мы, конечно, хорошо воспитаны, но мы не какие-то там “фраера”. Мы не бессловесная скотина, которую гонят на убой. Это отношение к евреям — будто каждый может над ними издеваться и делать с ними все что заблагорассудится, — с этим покончено раз и навсегда.

И тут вдруг в аптеке звонил телефон, и от этого звонка всегда начинало колотиться сердце и мурашки бежали по спине. Это был волшебный миг. А беседа звучала примерно так:

- Алло, Цви?
- Это я.
- Это Арье. Из Иерусалима.
- Да, Арье, здравствуй. Это я, Цви. Как вы поживаете?
- У нас все в порядке. Мы звоним вам из аптеки.
- И мы из аптеки. Что нового?
- Ничего нового. Как у вас, Цви? Что скажешь?
- Все в порядке. Ничего особенного. Живем.
- Если нет новостей — это тоже неплохо. И у нас нет новостей. У нас все благополучно. А как у вас?
- И у нас так же.
- Прекрасно. Теперь Фаня с вами поговорит.

И снова все то же: что слышно? что нового?

А затем:

— Теперь Амос скажет несколько слов.

Вот и весь разговор.

Что слышно? Все хорошо. Ну, тогда мы снова вскоре поговорим. Рады были вас услышать. И мы были рады вас услышать. Мы вам напишем письмо и договоримся, когда позвоним в следующий раз. Поговорим. Да. Обязательно поговорим. Скоро. До свидания, берегите себя. Всего доброго. И вам тоже.



Но это не было смешно — жизнь висела на тонком волоске. Сегодня я понимаю: они вовсе не были уверены, что и вправду поговорят еще. Вдруг это в последний раз, поскольку кто знает, что еще случится? Вдруг вспыхнут беспорядки, погромы, резня, арабы поднимутся и погромсают всех нас, грянет война, обрушится великая катастрофа. Ведь танки Гитлера, двигаясь по двум направлениям — со стороны Северной Африки и с Кавказа, — оказались почти у нашего порога. И кто знает, что нас ожидает еще...

Эта пустая беседа вовсе не была пустой, она была лишь невыразительной. Мне сегодняшнему те телефонные разговоры показывают, как трудно было им — всем, а не только моим родителям — выражать свои чувства. Там, где дело касалось чувств общественных, они не испытывали никаких трудностей, они не боялись обнаружить их, они умели говорить. О, как они умели говорить! Они могли на протяжении трех-четырех часов спорить о Ницше, Сталине, Фрейде, Жаботинском, спорить со слезами и пафосом, вкладывая в это всю душу. И когда они толковали о коллективизме, об антисемитизме, о справедливости, об “аграрном” или “женском” вопросе, о взаимосвязи искусства и жизни, их речи звучали как музыка. Но едва они пытались выразить свое личное чувство, выходило нечто вымученное, сухое — возможно, даже полное опасений и страха. Это было результатом того подавления чувств и тех запретов, что передавались из поколения в поколение. Система запретов и тормозов была удвоенной, правила поведения европейской буржуазии умножались на обычаи религиозного еврейского местечка. Почти все было “запрещено”, или “не принято”, или “некрасиво”.

Кроме того, в то время ощущался некий существенный дефицит слов, иврит еще не обрел языковую непринужденность, и, уж без сомнения, он не был языком интимным. Трудно было предвидеть заранее, что у тебя получится, когда ты говоришь на иврите. У людей не было полной уверенности в том, что сказанное не прозвучит комично, а этот страх, смертельный страх оказаться смешным — он преследовал днем и ночью. Даже такие, как мои родители, хорошо знавшие иврит, не вполне свободно владели им. Они говорили на этом языке, страшась неточности, часто поправляли себя, заново формулировали уже сказанное. Возможно, так чувствует себя близорукий водитель, пытаясь наугад проехать запутанными переулками незнакомого города на автомобиле, который ему тоже незнаком.

Однажды мамина подруга, учительница Лилия Бар-Самха, пришла к нам на субботнюю трапезу. Во время застольной беседы гостя многократно повторяла, что она “потрясена до ужаса”, а раз или два даже сказала, что она в “ужасающей ситуации”. На иврите это звучало *мацав мафлиц*, и она, похоже, совершенно не подозревала, что на нашем уличном разговорном иврите слово *мафлиц* означает “портить воздух”. Я не смог удержаться от бурного смеха, но взрослые не поняли, что здесь смешного, а возможно, просто сделали вид, что не понимают. Примерно такое происходило, когда про тетю Клару говорили, что она вечно портит картошку, пережаривая ее. Взрослые брали библейское слово *хурбан* (разрушение), созвучное со словом *харавон* (нестерпимый жар), и по всем правилам ивритской грамматики образовывали глагол *лехарбен*, не ведая, что на иврите моих сверстников этот глагол уже давно обзавелся другим значением — сходить по-большому. Мой отец, говоря о гонке вооружений, что ведут сверхдержавы, или возмущаясь решением стран НАТО вооружить Германию, дабы создать противовес Сталину, всегда употреблял библейское слово *лезаен* (вооружать), не подозревая, что в разговорном иврите у слова этого совсем иной смысл — трахаться.

С другой стороны, отец всегда морщился, когда я, наводя порядок, определял свои действия глаголом *лесадер* — от *седер* (порядок). Глагол этот представлялся совершенно безобидным, и я не понимал, чем он так раздражает папу. Отец, разумеется, ничего не объяснял, а спросить было просто невозможно. Спустя годы я узнал, что еще до моего рождения, в тридцатые годы,

20 слово это означало “сделать ее беременной” или того проще — “обрюхатить” и не жениться. Поэтому, когда я адресовал это слово к кому-то из своих приятелей, отец брезгливо кривил губы, морщил нос, но ничего мне не объяснял — как можно!

Когда дело касалось личных отношений, они не разговаривали на иврите, а в самые интимные моменты, возможно, они вообще не разговаривали. Молчали. Надо всем нависала тень страха — показаться смешным либо произнести что-либо смешное...